

Николай ВОРОНОВ

# Истина о самом себе

О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение.

Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84

## Счет думам и совести

На горную реку походила его, Твардовского, переменчивость. Летит быстро и свободно – песчаное русло. Вспорется, раскосматится – перекаст, камни, мечется меж ними. Перетекла в тугун, где вода нравно несет, но тише – плотнее река, набирает высоту. Потом разгладится плесом, увянет скорость в толще глубин, особенно в омутах около скал, тут ее уводит в воронки, глушит, отсюда она еле выкручивает стреловой поток на прямой ход, силенки почти не осталось. А дальше, за плесом, разветвилась среди островков, поросших резучкой, желтыми талами, и вырвалась из рукавов к новому тугуну, напетляв раскат и натяжение, – и опять заглупевший бег, разрушаемый на перекасте.

Отступления осаждают бумажный лист неспроста: едва коснешься прошлого, оно предъявляет счет думам и совести. Долго катилась наша беседа с перекосами, возвратами – о разных разностях. Он спросил, откуда я родом. Сказал: из Троицка, до революции город являлся отделом Оренбургского казачьего войска. У города есть особая черта – он русско-татарский, отсюда мне сызмала приятно все татарское: речь, одежда, пение, конечно, люди, старательные в труде и науке (как евреям, им легко даются чужие языки), независимые, гордые. Признался Твардовскому, что в литинститутские годы ходил на Малую Бронную к родственникам уборщицы нашего общежития Зайнляп Хайдаровой послушать игру ее сына Виктора на тальян-гармонии с бубенцами. То, что я из-за стеснения опустил, высказал Твардовский. Татарок бог не обидел красотой. Гаснут, верно, рано. Я могу ошибаться. Женщины магометанской культуры стараются скрывать прелести внешности. У них, в отличие от славянок, другая пластическая природа. В основе их пластики плавность, гибкость вкрадчивая, предупредительная. Известно – восток. И внезапно спросил, влюблялся ли я в татарских девушек.

– Заглядывался.

Ответ Твардовскому понравился. Прибавил, что теперь ему понятна моя склонность к тюркизмам. И тут же спросил, почему я не замечаю у себя перенасыщения украинизмами. Я сказал, что в Троицкой округе полно украинцев, что мачеха у меня украинка из деревни Гайдамаки, что на Магнитке я рос среди украинцев и дед мой Анисим Михайлович переселился из Украины на Южный Урал в начале века.

Он сказал не без удовольствия о грехе украинизмов в поэме «Страна Муравия». И вернулся к Троицку. Довелось читать о знаменитых ярмарках в городе, куда съезжались купцы из Азии и Западной Европы. Запомнил торговлю пшеницей между Оренбуржьем и Францией.

## Старозаветная патриархальность

Восхитился примененными на ярмарках миниатюрными мерками из железа, с помощью которых определялась сортность пшеницы. Возьмут мерку, опрокинут, сосчитают количество пшеничин. Чем меньше пшеничин, тем выше качеством хлеб. Обронил, что оренбургское казачество было более образованным, культурным, гуманным, чем донское. Я не спросил, почему он так думает, и теперь сожалею об этом. Так же – свидетельство Игоря Александровича Саца – думал об оренбургских казаках и Уначарский. Не влияние ли это Владимира Ивановича Дала, зачерпнувшего во время службы на земле оренбургской столько неизмеримо ценных языковых находок для своего толкового словаря? И не влияние ли это замечательного геодезиста Ивана Федоровича Браламберга, друга Дала по Оренбургу, где они создали любительскую оперу. Браламберг писал в своих воспоминаниях, что более знающего, добросердечного, сообразительного, трудолюбивого воина, чем местный русский казак, он не встречал.

Тут Кондратович говорит, что-де у Воронова большая часть судьбы приходится на барачную жизнь, отмеченную многонациональностью, поэтому он достоверно пишет и татар, и



украинцев, и евреев, и, разумеется, русских, прежде всего рабочих, происхождением из поселков, которые исстари зовутся заводами, ну и русских казачьего звания, да и само казачество – через отступления в прошлое. Еще Алексей Иванович счел нужным заметить, что с интересом в разные годы знакомился с моими рассказами о башкирах, особенно с тем, что напечатало «Знамя» «Человек-эхо».

Заговорили о калыме в горных башкирских аулах. Мое разумение, откованное большевистскими кувалдами, видело за калымом лишь феодальные пережитки. А Твардовский молчал, думал и вдруг вспомнил то, что я знал, но во что ни разу не попытался вникнуть. Когда женщину разводили с мужем, она

получала целиком весь калым, а значит, ей и детям было чем спастись и с чего начинать свое самостоятельное хозяйство. Разводы у башкир были редкостью, тем более высылка уважение эта спланированная предусмотрительность. Разговор о горных башкирах Твардовский вдруг повернул к тому, что не все патриархальное подлежит отмене и осмеянию. Патриархальность мы сделали пугалом, а она старозаветна в благом смысле, ибо складывалась тысячелетиями. Нам бы все крушить прежнее, невзирая на его благородную неисчерпанность. С чем останемся? Материнство, основа наших национальных надежд... Ладно, отцы оторваны трудом от детишек, а то ведь и матери... Кукушонки – и тот не без матери поднимается, пускай он невзначай ей навязан. Всему можно сделать хакири. С чем останемся? Потери велики, самое прищербное – невосполнимы. Людей не возродить, веру под прессом не вытравить. Вот вы про башкир... Коли матери в аулах при детях, их потомство обеспечено здоровое воспитание. Городские дети им не ровня, поскольку сами себя воспитывают. Школу учитываю. Да вот двор и лица не поддаются учету.

## Красно-синий карандаш Твардовского

...Уходил Твардовский из кабинета Кондратовича отрядный – надежды озарили лицо.

– Ну скажите, Николай Павлович, мощно работать с таким человеком? – радостно спросил Кондратович, едва мы остались одни. – Ведь, правда, прост, внимателен, душевен.

С годами я открыл для себя, что Кондратович преклонялся перед А. Т. – и поэтом, и редактором. Он единственный из всех его соратников делал за ним записи с неустанностью гетевско-Эккермана.

Преклонялся, чит, однако не терял неза-

висимости. Иногда, если Твардовский менял оценку, не умел скрыть своего несогласия с ним, о чем, объясняясь с автором, не умалчивал, даже возмущался.

1961 год. Я живу в Магнитогорске, допускать не допуская, что когда-нибудь покину Урал. И выпал день – почтальон вручил мне две телеграммы из Москвы, их тогда приносили запечатанными. Одна телеграмма извещала, что «Знамя» публикует мой рассказ «Человек-эхо», другая – что «Новый мир» печатает «Гудки паровозов». И оба – в четвертых номерах. От «Знамени» телеграмму подписал Вадим Кожевников, от «Нового мира» – Алексей Кондратович. Верстку, полученную из «Знамени», я не отослал

почтой, чтобы поехать в Москву и «новомирскую» вычитать на месте. Из «Знамени», куда занес верстку, помчался вверх по Тверскому бульвару. На Пушкинской площади встретил хмурого Кондратовича.

– Твардовский снял рассказ, – выкрикнул он и весь, как в лихорадке, прежде чем бежать дальше, стал ругать главного: он ходил по кабинетам, восторгаясь «Гудками паровозов» – вот, мол, как надо писать о рабочих людях, не подсахаривая, не стесняясь любви к ним. И тогда поэтический ключ не будет вразрез показу тяжелой жизни. Издевался над пафосом труда у Кожевникова, Кетлинской, Галины Николаевой, да и Панову не миловал: начальство избражают, известно, как руководить. Воронова им противопоставлял – и вдруг вычеркнул из рукописи самые честные места. А набор прочитал – и совсем вынул рассказ из номера. Зайдите после обеда – посмотрите, как он красно-синим карандашом вычеркнул из рукописи острые места. Заодно и последнюю корректуру увидите. Он правильно сделал: усеченный вариант прозвучал бы глухо. Убеждал Алексей Иванович заслать в набор полный текст «Гудков», но куда там....

Я огорчился за Твардовского. Его красно-синий карандаш покоялся за цензора. Он вычеркнул сцену, где всю бригаду паровозников, налетевших на встречный поезд: машиниста, помощника машиниста, кочегара – расстреляли без следствия и суда прямо перед локомотивом. Вычеркнул, как арестовывают возле паровоза помощника машиниста Коклягина, а машинист Кузовлев начинает гудеть, и кочегар, чтобы прекратить сигнал тревоги, разносящийся над Троицком и округой, швыряет в него гаечный ключ. Как после заключения и ссылки гостит у Кузовлевых Коклягин. Из трех частушек оставил одну, а ведь ходил по кабинетам редакции, со вкусом цитировал все.

## Редакторское самоуправство

Перво-наперво, рассказывал Кондратович, он выделил частушку:

«Ах, титьки-грудь,  
Под мышки пруть,  
Поболее надуть,  
Поболее дадут!».

Тут он радовался сплотенному звукоряду, этим скатиям и выхлопам, какие слух ловит в работе воздуходувки.

В частушке:

«Меня мама ругая,  
Меня тятя ругая.  
За что ругая?  
Растет брюха другая» –

он уловил сквозь лихость баюканье младенца, нагуленного и не желанного родителям девицы.

Из частушки:

«Эх, милка моя,  
Восковая свечка,  
Пойдем, подедем с тобой  
Живого человека» –

он извлек одобрение делу, без которого народ давно б перевелся.

С первых своих публикаций я сопротивлялся редакторскому самоуправству. А здесь – сам Александр Трифонович. К тому ж без оповещения и согласования. Со мной не посчитался – обидно. Но куда обидней другое: наинароднейший поэт, пускаясь в сокращения, не почуял исходных людей из простонародья, чьи судьбы стоят за изъятиями сценами и частушками. Это были частушки казачки Анисьи Лошкаревой. О ней в бараке говорили: «Лошкареха последнюю крошку хлеба разделит». А я еще перед отъездом в Москву похвастал ей, что три ее частушки напечатает в лучшем журнале страны...

Рассказ «Гудки паровозов» я отнес в журнал «Молодая гвардия». Там его опубликовали в мартовской книжке за 1962 год. Изъятия для того времени, когда уже начали припугивать, были маленькими. Из трех частушек сохранилась лишь средняя. Я признателен молодогвардейцам Андрею Пришвину, Олегу Смирнову, Юрию Белашу за их смелость и поддержку. В книгах моих «Гудки паровозов» печатали сперва по журнальной расклейке, потом – с выдирками именно тех мест, какие удалил красно-синий карандаш Твардовского.

Время носко, точно горная река: мечись взглядом, табань, правь влево-вправо, иначе твою плоскодонку опрокинет на камнях перекаста, шваркнет о скалу, увернет в рукав, где мели, кочкарник, кусты, заломы. Среди множества дел, за которые хватался, на которые наносило, в которых застревал, все-таки лихо стащило меня. Не успел оглянуться – годы позади. Спихватился: если ты есть прозаик, то в прошлом, и смотрят на тебя собраты, как сквозь оконную тусклоту в городе металлургов. И поделом: не подтверждаешь себя – в глухоту, в сумрак, в отвал.

Спасение обнаружилось неожиданно. Забытый роман «Все время ветер», прерванный магнитогорской осенью 1963 года в горевой час – приходилось уезжать из родного города, оказалось, украдкой перегнала на машинке жена Татьяна, удрученная моим бездельем. Прочитал... Ничего. Перепечатан с большими просветами. Правь, дописывай, уточняй, монтируй. Еще на Магнитке, едва подступал к роману, сказал себе: «Даю себе полную свободу»... Второй, улучшенный вариант романа я закончил в 1966 году и повез в «Знамя» Вадиму Кожевникову. То, что Кожевников опубликовал две повести Павла Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», казалось мне волшебством.

– На самом... – Павел Филиппович Нилин примолк, сведя губы в колючку, что означало угрозу, и уткнув указательный перст в потолок. Палец был кривоват, потолок дачи глуховато бурый от дубовой фанеровки. – На самом не читают. В апартаментах среднего пояса листают. Но именно оттуда делают представления наверх с подачи низовых кабинетов. Вадик в порядке подготовки обежит влиятельных людей низа и середины. Надо – по второму кругу обежит. В чрезвычайном случае третий заход сделает. Таким манером Вадик обеспечивал сравнительно благополучный прием моим сочинениям.

Продолжение следует.

У Николая Воронова большая часть судьбы приходится на барачную жизнь, отмеченную многонациональностью